

Теодор ГАЛЬПЕРИН

ДЯДЯ ГРИША

Рассказ

Вас когда-нибудь называли «месье», если вы русский? Не во Франции, а в России! И не француз — русского. А русский — русского? Конечно же, нет. А русский — русского мальчишку? Тем более. А вот меня так называли. Дядя Гриша называл. Мальчишку, ученика младших классов, когда было мне всего девять—двенадцать лет.

После войны в Ленинграде было много инвалидов войны. Инвалидам разрешалось небольшое частное предпринимательство. На пересечениях улиц стояли деревянные будочки-мастерские по ремонту обуви, по заказу и срочно на ходу. Был вход — дверца посередине, налево восседал мастер, направо — заказчик с разутой ногой.

В будочке на углу Невского и Литейного сапожничал Гриша или — как называли его мы, дети из расположенных поблизости домов, — дядя Гриша.

У будочки этой постоянно толклись заказчики: место было бойкое, Гриша — отменный мастер, а главное — обаятельный дядька, всегда с улыбкой — солнечной, согревающей. Гриша был родом из Одессы, военный моряк, на нем всегда была тельняшка, когда похолоднее — поверх куртка с якорем на рукаве, когда еще холоднее — бушлат. У стены стояла инвалидная палка. Одессу-маму Гриша всегда вспоминал, постоянно напевал веселые одесские песенки, в те времена — явно не для прессы:

Гоп-цоп-переверцоп, бабушка здорова.

Гоп-цоп-переверцоп, кушает компот...

При этом Гриша отбивал такт, работая сапожным молотком. Когда к будочке приближались дети или подозрительные, он напевал уже как-то неслышно, про себя, хотя нам, детям, и так не все понятно было в этих песенках. Но незнакомых, подозрительных, он побаивался: доносы были в те времена в моде.

Гриша был молод, лет под тридцать, но уже серьезно седой. Мой отец тоже был военным моряком. Из рассказов мамы я знал, что отец погиб при Таллинском прорыве кораблей Балтийского флота — из Таллина в Кронштадт, в самом начале войны, в августе сорок первого. Мне было тогда всего три года, но отца я помнил, или так мне казалось, и образ его отпечатался в памяти из фотографий, увиденных уже в более позднем возрасте. Но тот неподдельный аромат моря, исходящий от моряка в краткой увольнительной с корабля, подхватившего тебя, ребенка, уверенными мужскими руками, запоминается навсегда.

Теодор Борисович Гальперин родился в 1937 году, инженер-физик, кандидат технических наук, специалист в области авиационного приборостроения. Заслуженный изобретатель РФ. Петербургский поэт, автор-исполнитель песен на свои стихи, автор рассказов и многочисленных публикаций в российских литературных и научных изданиях. Живет в Санкт-Петербурге.

Может быть, этой памятью об отце меня влекло на угол Невского и Литейного — постоять у будочки военного моряка, послушать его рассказы, разговоры с постоянными заказчиками, с друзьями-ветеранами.

Заметив меня, Гриша всегда доставал круглую коробочку монпансье — красивую, цветную, открывал ее торжественно — там переливались радугой разноцветные кругленькие леденцы размером с тогдашнюю копейку — и, угощая, приговаривал:

— Прошу, месье, вам — монпансье.

Я скромно доставал две конфетки.

— Спасибо, дядя Гриша.

— Правильно, больше двух — не надо. А то чесаться будешь.

Но меня не прогонял.

Дружки тихо доверяли ему свое наболевшее — не только фронтовые, но и душевные шрамы. Сочувственно слушая, Гриша доставал «малышку», четвертинку водки, и выпивал с фронтовым собратом фронтовые сто грамм, приговаривая: «Шарман, шарман».

Обожали Гришу дамы — ленинградские женщины, еще бледные после блокады и даже после эвакуации. В его огромных доверчивых глазах искрила какая-то тайна нежных встреч, горестных измен... Гриша опять же озорно напевал:

Кавалеры, приглашайте дам,
Там, где брошка, там — перед...

Порой его спрашивали, где он научился так ловко ремонтировать обувь. И Гриша объяснял:

— Э, у соседа моего одесского — старого Янкеля. Он и песни эти напевал, когда сапожничал.

Из обрывков этих разговоров, а потом из разговоров со мной, когда мы подружались, у меня сложилась история военного моряка-одессита Гриши.

Гриша учился в морском техникуме в Одессе, собирался стать корабельным радистом. В это лето тридцать восьмого, накануне последнего курса, к старому Янкелю (а тот был еще вовсе не стар — красивый, черноглазый, участник Первой мировой, георгиевский кавалер, тогда и охромел), вернее — к жене его Марии приехала на лето племянница Вера из Ленинграда.

Мария была родом из Белоруссии — яркая голубоглазая блондинка, несколько расплывшая в южном климате. И подшучивали над этой необычной парой: Янкель да Марья, то же, что Иван да Марья, разноцветный союз, только по-одесски.

Отмечались этой семьей и еврейские, и православные праздники, приглашались соседи по двору, и все поедали либо вкусенькое из мацы (а Мария быстро обучилась еврейской кухне), либо куличи. И Янкель в праздники обязательно прицеплял свой Георгиевский крест — гордился наградой.

Вера была совсем не похожа на тетку: худенькая, неяркая, с томной бледностью, очень скромная, даже застенчивая. Хотя дружки Гриши считали, что ленинградки — самые некрасивые женщины в стране, Грише нравилась эта противоположность взрывным, энергичным одесситкам. От Веры веяло тишиной, нежностью, покоем.

И вот — любовь. Взаимная. Встречи продолжались два летних месяца. Вера уезжала в Ленинград доучиваться на медсестру. Год длилась нежная переписка. Любовь не увядала. Летом следующего года Вера снова приехала в Одессу. Она повзрослела, похорошела, свет любви тонкой акварелью играл на ленинградской бледности. Гриша снял комнату на 16-й линии, у моря. Он хорошо плавал, имел разряд по плаванию и в курортный сезон подрабатывал спасателем.

Мария и Александра Константиновна, мама Гриши, были очень озадачены поведением племянницы и сына. Выговаривали:

— Сначала зарегистрируйтесь. Так учит наша религия.

Мария обращалась и к Янкелю:

— А ваша религия еще строже!

Но Янкель был спокоен:

— Дамы, устарели мы. Говори не говори — все халоймес¹. Да где он, этот Бог? Первую мировую проиграли с Богом.

И георгиевский кавалер повторял:

— Да, халоймес!

И он был прав. Неведомое ранее разнополярное поле любви взаимно притягивало Веру и Гришу.

К сентябрю похолодало, но расставались горячо. Гриша оканчивал техникум, стремился служить в Ленинграде. Написал в управление Балтфлота. Решение было положительным — предложили Кронштадт. Осенью тридцать девятого он туда и отправился. Гришу определили радистом на тральщик.

К этому времени в мире все здорово изменилось. Прибалтику присоединили к Стране Советов, и решено было, что основной базой Балтфлота станет Таллин.

Флот из Кронштадта направляли в Таллин. Чувствительные человеки, как и животные, ощущают волны мировой катастрофы. Гриша решил перед походом обрести законную супругу. Отпросился в увольнительную на три дня — «оформить отношения».

С порога, обняв и расцеловав Верочку, уверенно сказал:

— Нас отправляют в Таллин. Пошли в загс.

Верочка просто сказала:

— Сейчас, пока скинь бушлат, посиди на кухне, я скоро!

Она приделась, и отправились в загс, при этом волновались не только от новизны происходящего, но и потому, что не было у них необходимых свидетелей. Гриша показал увольнительную и пояснил обстоятельства. Их зарегистрировали, сказали: свидетелей найдем.

Купили необходимое для скромного, но торжественного ужина: ветчину, сыр, торт, конечно — шампанское...

Вечером с работы пришла Антонина Ивановна, и Вера торжественно объявила:

— Мамочка, ты пришла к нам на свадьбу!

Мама поначалу растерялась, но потом, увидев счастливые лица новобрачных, поняла, что теперь у нее двое детей, обняла, поздравила, вынула из шкафа конверт с деньгами, припасенный для такого случая, и объявила:

— Это вам приданое.

Прихлебнув полстаканчика шампанского за счастье новобрачных, мама ушла на три дня к соседке.

Прощались с женской слезой и крепкими мужскими объятиями — словно прощались навсегда. Договорились, что летом Вера приедет в Таллин, а летом сорок первого, когда Гриша получит законный отпуск, поедут снова в Одессу, там и справят шумную свадьбу, по-настоящему, по-одесски. И снова — потоки нежных писем.

Но Вера не смогла приехать: приболела мама, а летом сорок первого — уже война, долгая и кромешная.

Да, Верочка и Гриша прощались навсегда. Они никогда больше не увидятся. Но об этом я уже узнал не из рассказов Гриши, не слышал, чтобы он делился с кем-нибудь этой трагической и такой обычной для войны правдой. Мне рассказала об этом позже моя мама.

¹ Халоймес — ерунда (*идиши*).

* * *

В окошке Гришиной будочки было выставлено расписание работы, там время обеда: 14–14.30. Грише приносила обед в судках, обернутых для сохранения тепла в одеяло, пожилая женщина. Он был похож на нее, конечно, мама — такой же черноволосый, с близко расположенными карими округлыми глазами, черты свойственные грекам. Александра Константиновна была гречанкой и гордилась своим греческим происхождением — из древних поселений греков с Азовского моря. Говорила:

— Наш род не из тех крымских греков, что Екатерина заселила из Европы. Я — элинка, с территорий древней Эллады, тогда на крымских землях и проживали только греки да евреи, потом — римляне, скифы, славяне.

Александра Константиновна преподавала в школе историю и русский язык. Поэтому одессит Гриша говорил на чистом русском, хотя порой, особенно в одесских песенках, подчеркивал диалект города, в котором родился, где прошли детство и начало юности.

Александра Константиновна приехала в Одессу, выходя замуж за украинца, но муж, работая мастером в порту, пристрастился к рюмке, мог пить и без дружков, в одиночестве, по поводу и без повода. Родители развелись, когда Гриша был еще ребенком. В наследство от отца ему досталась звучная украинская, гармонирующая с именем фамилия — Григорий Гриценко.

В паспорте и военном билете (в нем всегда национальность определялась по матери) указывалось — грек.

К этому одесскому греку Григорию Гриценко и приехала Александра Константиновна, чтобы облегчить сыну жизнь.

К Грише я отправлялся после уроков, забросив домой школьный ранец и перекусив тем, что оставила мама (обедали мы поздно, когда мама возвращалась с работы).

На этот раз, когда снова подошел к будочке, у Гриши восседала постоянная клиентка, и мастер, забивая гвоздики в каблук в ритме песенки, напевал:

Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
У нее в кармане был наган...

День был пасмурным, но у Гриши было прекрасное, улыбочивое настроение, казалось, проглядывает из будочки одесское солнце. Гриша меня увидел и, в очередной раз протянув коробочку с монпансье (надо сказать, что припасал он эту коробочку на случай прихода клиенток с детьми — занять детей конфетками, чтобы они не дергали постоянно маму или бабушку, мешая работать), удивился моим столь частым посещениям:

— Что тебе за интерес тут, хлопец?

— Мой отец был тоже моряком. Он погиб.

В этот момент подошла Александра Константиновна с обедом, и Гриша сказал:

— Ну, погуляй полчаса в садике больницы.

И пока Гриша обедает, я расскажу немного о своих родителях.

* * *

Мама моя, Анна Петровна, до войны была студенткой медицинского института, а отец мой, Борис Сергеевич, учился в Политехническом. Как-то на втором курсе девчонки-медики пришли в Политехнический на вечер, в танце мои будущие родители познакомились и понравились друг другу.

Отца, успешного студента, после второго курса направили по комсомольскому набору в Командное морское училище имени Фрунзе. Он хотел быть инженером, но в комитете комсомола ему сказали: «Родина лучше знает, кем вам быть!»

От этого счастливого знакомства, ровно через год после комсомольской свадьбы студентки и курсанта, я и появился на этот свет — за три года до начала войны. Молодые супруги жили в одной комнате небольшой коммунальной квартиры, вторую комнату занимала фрау Хельга — старенькая преподавательница немецкого, из обрусевших немцев. Она помогала маме растить меня первые годы.

Отец окончил училище в чине капитан-лейтенанта весной тридцать девятого, направлен был в Кронштадт командиром тральщика, а летом тральщик отца, как и другие корабли, направился в Таллин, новую главную базу Балтфлота.

На студенческое лето сорокового мама приехала со мной в Таллин, весной сорок первого мама оканчивала медицинский, и были планы нашего переезда в Таллин, ближе к отцу. Но этого не случилось. Мама, став дипломированным врачом, получила направление в Морскую военно-медицинскую академию. С первых дней войны — круглосуточная борьба военных врачей за жизнь раненых.

В конце августа — обратный, трагический, переход-прорыв кораблей из Таллина в Ленинград, во время которого мой отец погиб. Погибло шестьдесят военных кораблей, транспортных и других гражданских судов... И пятнадцать тысяч моряков, красноармейцев, гражданских! Кто и когда ответил за это? Никто никогда!

Фрау Хельгу, как и других немцев, выселили в Томск, там она и умрет — эта русская немка, окончившая Смольный институт благородных девиц, влюбленная в русскую литературу, особенно поэзию.

Мама не могла покинуть врачебное поле боя и отправила меня со своей двоюродной сестрой Ниной в Казань, куда эвакуировали Ленинградский оптико-механический завод, выпускающий столь необходимые Красной армии оптические прицелы. Нина была на заводе ведущим инженером-оптиком.

После полного снятия блокады в сорок четвертом завод вернулся в Ленинград.

Я снова жил с любимой мамой. Мама привела меня в детский сад, выбрала мне шкафчик-раздевалку с опознавательной картинкой в виде якоря. В детском саду и первые два класса школы (я стал первоклассником в год победы, в сорок пятом) был на продленке — мама отводила меня с утра и заходила за мной после работы. Но иногда меня сопровождала Сима Львовна в свободное от театра время. Сима Львовна была артисткой Ленинградского театра музыкальной комедии, работала в театре всю блокаду, с концертами прибывала на передовую. Дом, где она жила, был разрушен в блокаду очередной бомбежкой, во время спектакля, и ее поселили в комнате фрау Хельги.

Когда перешел в третий класс мама и Сима уже не провожали меня в школу. Я мог спокойно прогуливаться до угла Невского и Литейного, так и познакомился с Гришей.

* * *

После прогулки в саду больницы возвратился к дяде Грише, он с удивлением переспросил:

- Отец был моряком?
 - Да, он погиб при Таллинском переходе.
 - При Таллинском переходе? Как его называли?
 - Сергеев Борис Сергеевич.
 - Сергеев? Борис Сергеевич? Так он же был командиром нашего тральщика.
- Посетителей не было, и Гриша пригласил:
- Да ты заходи, хлопец, сидай.

И в который раз открыл заветную коробочку.

— Я был радистом. Проклятый немец подбил нас!

Далее пересказываю его рассказ по памяти:

Впереди боевого строя всегда тральщики — обезопасить путь от мин. Нас и бомбили, и обстреливали в первую очередь, шлюпку смыло. Командир приказал всем оставшимся в живых спастись вплавь. Я оставался в радиорубке, передавал сигналы другим кораблям и транспортным судам, но командир приказал — покинуть борт, сам продолжал посылать сигналы, призывая корабли и транспортные суда спасать нас, плывущих над минами, под бомбами и непрерывным обстрелом. Меня спасли — я ведь был пловцом, доплыл до транспортника, заметили, бросили канат...

Но сначала о Борисе Сергеевиче. Шквал огня не прекращался. Артиллерия подбила наш тральщик во второй раз. И Борис Сергеевич погиб.

Многих мы потеряли в этом прорыве. Решение о переходе запоздало, на следующий день немцы уже прорвались в Таллин, накануне Финский залив, выход из порта фрицы плотно заминировали. В первый день по непонятной причине авиация не оказала поддержки, да и слабой оказалась... Поначалу не так уж мало было наших самолетов, но «юнкерсы» легко сбивали не умеющие пикировать «илы»².

Немец продолжал бомбить корабли и после прорыва. В Кронштадте взяли радистом на флагман — крейсер «Киров», тряхнуло и крейсер. На посту был ранен, перевязали, отправили в госпиталь, но гангрена одолела. Пришлось от стопы до колена оттапать...

Все с тральщика, кто остался в живых, обратились в штаб — наградить Сергеева, настоящий командир, геройски погиб. Но пока не слышно.

— А теперь иди! Я ведь и маму твою, кажется, знаю, лежал в академии.

* * *

— Мама, дядя Гриша рассказал, папа был командиром их корабля и спасал всех, а сам погиб, — это были первые слова, с которыми я встретил маму вечером.

— Знаю, сынок. Он лежал у нас в хирургии, пришлось ампутировать ногу ниже колена, начиналась гангрена. О Грише заботилась и ухаживала за ним Антонина Ивановна — мама Веры, очень опытная медсестра.

Вера весной сорок первого окончила медучилище, работала в Мариинской больнице, где медсестрой работала и Антонина Ивановна. Когда началась война, Веру направили в медчасть Волховского фронта. Она написала любимому в Таллин. Но письма уже не доходили. Эти счастливые влюбленные, почти еще дети, повзрослели на много лет в первые дни войны. Когда Гриша очнулся после операции, он смог написать Вере короткое письмецо. Но Вера его уже не получит, она погибнет на подступах к Ленинграду, спасая раненых в этих смертельных боях.

Письмо получила Антонина Ивановна. Пришла в академию к Грише, по ее лицу, изменившейся тяжелой походке Гриша сразу ощутил трагический холод произошедшего.

Когда Антонина Ивановна сообщила о Вере, у него, еще слабого после операции, началась сильная аритмия, и к нему призвали мою маму как кардиолога.

Так мама моя познакомилась с Антониной Ивановной. После выписки Гриши Антонина Ивановна, он теперь называл ее тоже мама, забрала его к себе, в ту комнату, где Вера и Гриша всего три дня и три ночи быть счастливыми мужем и женой.

Когда Гриша пришел в себя после ампутации, он твердо решил вернуться в строй — мстить за Верочку, не уступать Ленинград.

² Из воспоминаний главкома Балтийского флота контр-адмирала В. Трибуца: «Флот располагал к началу войны стройной, основанной на марксистско-ленинской теории, системой подготовки и ведения операций».

На город белых ночей опустилось черное беспросветное покрывало блокады. Корабли покидали Кронштадт, переходили к устью и набережным Невы — для защиты города своей артиллерийской мощью, перешел и «Киров».

Гриша написал командиру о желании служить на корабле дальше и помочь с изготовлением протеза. Командир помнил умелого радиста, откликнулся и посодействовал.

В блокадном городе не прекращала работу протезная мастерская при технике протезирования.

Через месяц поставили пробный протез, в те времена протезы вытачивали из дерева, тяжелы были. Да на корабле только трапы и палубы, преодолевать надо быстро, но недолго. Постепенно привык, справился.

Антонина Ивановна приходила, когда были силы, повидаться с Гришей. Он спустился к ней с трапа на невский лед, совсем близко к набережной, всегда делился с ней хлебом, как она ни отказывалась, говорил:

— Мне много есть нельзя, двигаюсь мало, растолстею!

Антонина Ивановна в лютую блокадную зиму погибла при очередной бомбежке, сбрасывая зажигалки с крыши больничного корпуса.

В мае победного сорок пятого «Киров» снова переходил в Кронштадт, и Гриша решил демобилизоваться. Он был радистом самоотверженным, порой дежурил по полторы вахты, получая сводки-предупреждения о надвигающемся налете противника, поддерживая связь с кораблями и командованием. Наслышаны были о мужественном радисте-инвалиде и в штабе Балтфлота.

Командир крейсера полюбил этого волевого и храброго парня, знал о его трагической судьбе, гибели любимой и Антонины Ивановны, относился к Грише в это жесткое время с нежностью, по-отечески. Когда узнал о гибели Антонины Ивановны, житейски опытный командир, капитан первого ранга, помог с пропиской в ее комнате, что было в блокаду делом непростым.

Прощались сожалея, но оба понимали, что иначе нельзя. Командир поблагодарил за службу, за воинскую доблесть моряка, сказал, что обязательно представит к более высокой награде. (Радист Григорий Гриценко уже был награжден двумя медалями и дважды повышен в звании.)

Гриша не писал матери в первые годы войны. Письма бы не дошли. Но когда Одессу освободили, Александра Константиновна получила от него письмо. Сын рассказал, что с ним приключилось.

Мама звала вернуться в Одессу, звала неуверенно — началась вторая (после тридцатых годов) волна репрессий против греков, десятки тысяч греков выселялись с Украины, Кавказа, Крыма на восток. В частях СС, воевавших на Восточном фронте, греки не значились, были украинцы, татары, финны, грузины, в армии Власова — больше русские. Греки в оккупации занимались ремеслом и торговлей, выкачивая деньги с оккупантов. Но гильотина верховного гнева параноика, так и не обучившегося без акцента говорить на прекрасном русском, крушила без остановки и малые, и большие народы, и отдача этой гильотины на десятки лет прокатилась по стране, сдерживая развитие и благополучие всего народа...

Однако Гриша решил остаться в Ленинграде, решил не по этой причине, на то была причина другая.

* * *

При последней встрече Антонина Ивановна, словно предчувствуя свою гибель, отдала Грише Верочкины ключи от комнаты. Он ощутил это как знамение — навсег-

да остаться в этой комнате, наполненной дыханием и теплом его возлюбленной и жены Верочки.

Мариинская больница, где раньше работали Верочка и Антонина Ивановна, была рядом с будочкой, и когда была возможность, когда позволяла часто неуютная ленинградская погода, Гриша любил отдыхать в саду больницы, давно построенной итальянцем Джакомо Кваренги. Солнечный желток классицизма напоминал ему об Одессе и человеческом свете его любимой Верочки, типичной ленинградки — неяркой северной акварели.

А когда сотворили ему новый усовершенствованный протез, он путешествовал по всему «солнечному» району Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда, но никак иначе этот центр города назвать невозможно). И этот путь от Публичной библиотеки по улице Зодчего Росси заряжал его энергией желтого цвета, который излучали эти строения другого итальянца — Карла Ивановича Росси.

Итальянцы-архитекторы, затеявшие роман с новой прохладной родиной, казалось, хотели согреть жителей итальянским солнцем. И Гриша согревался этим солнечным желтком Северной Пальмиры. Энергия цвета, как аккумулятор, поддерживала в нем одесскую улыбку, и этой улыбкой он согревал и друзей своих, и заказчиков.

Но Гриша не всегда улыбался и дарил душевное тепло. Однажды на подходе к будочке я услышал, как скандалит упитанный клиент. У Гриши не было постоянного прейскуранта: на инвалидов он работал почти бесплатно, те порой одаривали в благодарность «малышкой», с блокадников тоже взимал немного, со здоровяков, приезжих — больше. Но торгов Гриша не допускал. Видно, клиент относился к последней категории. Я подошел в тот момент, когда Гриша с палкой, прихрамывая, гнался за молодым и упитанным.

— Научу тебя любить Одессу, а иначе будет сильно интэрэсным, — Гриша вошел в раж, напирая на одесский акцент, — сильно посынэвшим твой портрэт.

Толстяк убежал, и Гриша вдогонку:

— Тикай, тикай, штабная крыса!

И мне:

— Такие и убили наших Янкеля да Марью.

И Гриша рассказал мне о судьбе Янкеля и Марии со слов Александры Константиновны.

Когда нагрянули немцы, двое украинцев с соседней улицы в немецкой форме вошли во двор их дома со списками, вывели Янкеля, следом, пытаясь загородить мужа, бежала Мария, хватая фашистов за руки. В нее выстрелили. Георгиевский кавалер был еще в силе, выстрел в Марию удесятерил его силы — вырвался из рук предателей, свалил с ног стрелявшего, но второй выпустил очередь в Янкеля.

Эта жуткая, непривычная для одесситов сцена, длящаяся несколько минут, проходила под возмущенные крики соседей из каждого окна во дворе.

Украинцы, которых в Одессе было намного меньше, чем евреев, еще в начале века³, стреляли в народ, живущий в этих краях со времен Древней Эллады...

Янкеля да Марью хоронили всем двором. Фашисты снесли это — пока молчаливое сопротивление...

Детям войны рассказы о зверствах фашистов были понятны, и ничего не надо было разъяснять.

С третьего класса у меня появилась подружка из соседнего смежного двора — Соня. Мама знала, что дружу с Соней, знала и ее отца, военного хирурга, прошедшего всю

³ Согласно российской переписи населения, в 1897 году в Одессе проживало 49 % — русских, 31 % — евреев, 9 % — украинцев.

войну, и когда мама провожала меня в школу, а отец Сони отводил дочь в соседнюю женскую школу, они встречались и шли вместе к противоположным остановкам трамвая № 9: мама направлялась к Витебскому вокзалу, где рядом была Военно-морская медицинская академия, а отец Сони — к Финляндскому вокзалу, в сторону Военно-медицинской академии.

Как-то Соня сообщила мне как большой секрет — в каком магазине будут давать не только черный, но и серо-белый хлеб. Черный желанный блокадный хлеб завозился в булочные уже в достаточной норме. Но иногда появлялся и кирпич серо-белого хлеба, а Соня как-то заранее узнавала, в какой магазин завезут этот хлеб, который для блокадников был настоящим лакомством. Только приходиться надо было к открытию магазина, чтобы хватило этого лакомства, и с третьего класса мы с Соней еще до школы забегали в этот магазин и отоваривались на всю семью и даже соседей по квартире, предъявляя собранные хлебные карточки.

В ответ на доброту Сони я рассказал ей о заветной коробочке монпансье и отвел ее как-то к Грише. Гриша по-доброму посмотрел на нас и, открыв в очередной раз коробочку, протянул ее сначала Соне, потом мне, приговаривая:

— Прошу, мадам! Прошу, месье!

Но Соня не всегда могла со мной гулять, она еще мучилась в музыкальной школе, и мне порой оставалось только стоять у ее окна и слушать душераздирающие звуки скрипки.

Внезапно Соня перестала появляться в нашем дворе. В школу и из школы шла в сопровождении бабушки. Завидев меня, приветственно кивала в мою сторону, была какая-то изменившаяся, грустная. Больше не отправлялась со мной к Грише. Мы были в пятом классе, шел 1950-й. Я рассказал маме. Мама помолчала, потом поделилась:

— Сонин папа арестован.

Я удивленно:

— За что?

Мама очень тихо:

— Ни за что... Только не разговаривай ни с кем больше на эту тему.

Вскоре мы с мамой переехали в другой, далекий район. В блокаду наш дом пострадал: бомба попала в соседний, смежный, дом, а наш получил от сотрясения трещины. Он был признан непригодным для жилья, его временно укрепили, но когда я окончил седьмой класс, дом расселили.

* * *

Мама так и не устроила свою женскую судьбу. Судьбу эту составили самоотверженная работа, аспирантура, защита кандидатской, но в первую очередь (как я это постоянно ощущал) — материнская любовь и забота... и не проходящая с годами память об отце. Она постоянно вспоминала отца, просматривала довоенные черно-белые, порой некачественные фото, заказывала умелым фотографам их обработку, иногда расцветку, вывешивала в рамках. Отца все же наградили — орденом Красной Звезды, и мама порой доставала из шкафа эту красную коробочку с орденом, открывала ее... О чем-то думала отрешенно — может быть, как многие ее сверстницы: ах, если б не было войны...

Мама была красивой и успешной, но, пока я был ребенком, школьником, не хотела, наверное, нагружать меня отчимом, а потом...

Мама была другом, водила с детства в филармонию, в театры, приобретала в Мариинку абонементы. Любила поэзию, говорила: «Поэзия — это крылья, поддерживаю-

щие нас в этой жизни». Ей были благодарны моряки, которых она внимательно, с теплотой и участием лечила в академии, зная ее любовь к поэзии, дарили дефицитные сборники Пастернака, Цветаевой, Мандельштама... Отец тоже любил поэзию, музыку. Родственные души двоих вопреки законам физики притягиваются на всю жизнь, и потом никто и ничто не может их разделить. Однолюбы редки в наше время — теория относительности распространилась и на любовь. А может быть, картина ада, воспеваемая Данте, далека от реальности, и в наши адские времена любовь оживала, а в благополучные — сникает, размывается?..

После восьмого класса я решил поскорее помочь маме, много работающей, возвращающейся порой из-за дополнительных дежурств поздно с работы. Поступил в Техникум морского приборостроения, а после него — на работу в Институт имени академика Крылова, стал заниматься электромагнитными полями кораблей. Одновременно поступил на вечерний в Кораблестроительный институт, на ту же специальность, в память об отце — работать над безопасностью кораблей от мин, формируя магнитные поля кораблей.

Работал, учился, влюбился — был занят «по горло» и уже не бывал в районе детства. А когда стал появляться там — Гришиной будочки уже не было.

После окончания техникума мама сообщила мне:

— Отца Сони освободили, оправдали.

А когда я окончил институт, сказала, вздыхая, что семья Сони уехала в Израиль.

* * *

Сейчас, когда пишу этот рассказ, прошло немало лет после детства. Но я часто вспоминаю дядю Гришу и тебя, Соня, моя подружка из соседнего двора. Я знаю, что отец твой, боевой военный хирург, оскорбленный «делом врачей», увез вас в Израиль. Я не знаю, где вы там, я ведь не знаю даже твоей фамилии. Я бы написал тебе. Но может быть, ты прочтешь мой рассказ и вспомнишь про Сережу в соседнем дворе, которому ты открыла секрет серо-белого хлеба, а он отвел тебя к дяде Грише.

Помнишь дядю Гришу, его разноцветные леденцы и его «Прошу, мадам, прошу, месье!»?

Может быть, мне уже неудобно тебя называть на «ты». Наверное, уже замужняя дама и у тебя дети, может быть, двое или трое, в Израиле любят рожать много детей. Я не знаю о тебе ничего.

Но тогда, в нашем детстве, я называл тебя порой даже ласково — Сонечка. А ты меня — Сережка! Сейчас мне кажется, что это было тоже ласково. Я любил в жизни трех женщин, и они меня, кажется, любили, но ни одна никогда не делилась со мной так дарственно, так бескорыстно своими секретами, как ты хлебным секретом. Ведь этого хлебного лакомства давали мало, могло не всем хватить.

А может быть, это бывает только в детстве? Я всегда буду помнить о тебе, Соня. Как всегда, вспоминаю наше послевоенное детство: завитки крутых очередей за сахаром, за крупой, серо-белый хлеб...

И особенно День Победы вспоминаю. Когда дядя Гриша собирал свой парадик — тех, кто навсегда отвоевал. Каждый подходил к будочке, опершись на палку или даже костыли, но обязательно с «малышкой» и своим стаканом. Звенели праздничные стаканы-бокалы, и гудели те богатыри, и сверкали на них ордена и медали...

Дядя Гриша, не знаю — где вы и что с вами? Но всегда помню о вас. Ведь никто, ни где, никогда не называл меня так — «месье»!